

В.В. Шильке,  
А.К. Шарипов

---

# ИСТОРИЯ ОШИБОК

**Алибек Канатович Шарипов  
Вячеслав Васильевич Шильке  
История ошибок**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=29186144](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29186144)*

*SelfPub; 2018*

**Аннотация**

Книга о тяжелой судьбе квазигероя нашего времени, находящегося в ситуации постоянного выбора между жизнью и смертью, реальностью и иллюзией, бытием и небытием, означаемым и означающим.

# Содержание

1	4
2	11
3	14
4	18
5	21
6	30
7	38
Конец ознакомительного фрагмента.	40

# 1

Кто бы что ни говорил, а день начинался хорошо. Мир был переполнен различными формами красоты и уродства, от которых никуда нельзя было скрыться. Мякишев открыл мутные глаза с привычной болью. За окном орали дети. Мякишеву стало грустно.

Грусть эта имела два корня, один из них уходил в почву сновидения, которое привиделось Мякишеву накануне. Ему снилось, что он, полуголый и пораженный какой-то странной болезнью, скитается мучительно между зеркалом и подъездом, постоянно при этом опорожняя мочевой пузырь. В зеркале он разглядывал свои обесцвеченные выпавшие брови, а в подъезде испытывал невероятное чувство стыда, за свое антисоциальное действие, которое к тому же сопровождалось чувством изнурения, свойственным диабетикам. Закончивая поливать соседскую дверь, он возвращался в свою квартиру, по которой хлопотливо носилась мать, насыпал в ладонь пригоршню таблеток и, не запивая, одним махом заглатывал их, ощущая во рту привкус чего-то полусырого и полусгнившего.

Второй корень уходил в почву душевной болезни, мучавшей его уже долгие годы, можно сказать, корень уходил в определенную беспочвенность. Сам Мякишев именовал

свой недуг аллергией на интерпретации. Он был не в состоянии объяснить мир, постичь существо жизни, опираясь на какую-либо хорошо известную интерпретацию. В один прекрасный момент он просто понял, что любое высказывание о мире ложно, что ни в каком толковании нет толка. Это было то, что называют озарением, трубным гласом ангела, пробившимся в его нутро сквозь невыносимый и нескончаемый шум повседневного существования. Он на мгновение как бы столкнулся лицом к лицу с живой жизнью и понял, что не имеет инструментов для ее познания, но то, что он освободился из плена чужого слова, чужого представления, стало для него очевидным. С тех пор его каждый раз тошнило, когда какой-нибудь недоумок с жаром заявлял: «Жизнь – это то-то или то-то». В отчаянной попытке увидеть мир чистыми глазами Мякишев болезненно метался между религией, наукой, мифологией, философией, филистерством, алхимией, алкоголем. Все зря. Тогда, устав от себя самого, он шел на кухню и начинал есть. Так он часто боролся с грустью, так решил бороться и сейчас. Сегодня в холодильнике оказалась курица.

Отобедав тощей курицей, Мякишев уселся возле окна и обратил свой потяжелевший взгляд на сонную игру ребятни во дворе. Свет погас. Дети исчезли. Время незаметно прошло. И вот Мякишев смотрит на огоньки окон, желтые глаза домов, которые величественно возвышаются, овеваемые ночным воздухом. Это вселяет в него уверенность и чувство

уюта. Его одолевает дремота, мысли становятся невесомыми. Мякишев проваливается в странный полусон. В нем он возвращается во времени на 10 часов назад, к тому моменту, когда он собрался отобедать курицей. Он знает, что все это он уже делал, и что нелепо будет все повторять сначала, но вместе с тем он понимает, что не совершить все заново он не может. И вот Мякишев, преисполненный грустью, отправляется на кухню, чтобы прожить прожитое в очередной раз.

Когда он приступает к своей скудной трапезе, курица молвит вдруг человеческим голосом:

– Опомнись!

Мякишев застывает в изумлении. Чтобы как-то справиться с охватившей тело дрожью, он втыкает вилку себе в руку. Внезапно он вспоминает, что ожидает гостей. Ему становится стыдно, что на столе – всего ничего, и что он по этому поводу ничего не предпринимает.

Раздается звонок. Вытащив вилку из руки, Мякишев идет открывать дверь. На пороге стоит огромная тетка с выпученными глазами. Мякишев не узнает ее. Курица зовет Мякишева вернуться на кухню. Мякишев закрывает дверь и возвращается на кухню. Вновь воткнув вилку себе в предплечье, Мякишев пытается вернуться к тому состоянию, в котором он пребывал до того, как курица ввела его в ступор своим обращением «опомнись». Что она имела в виду? Что это значит?

Он вспоминает про тетку за дверью. Но он ведь не узнал

ее. Кто это? Кто приходит к нам иногда неузнанным, непрощеным гостем? «Смерть... – подумал Мякишев. – Мы никогда не знаем, как она будет выглядеть, на что будет похожа. Неужели смерть уже пришла за мной в облике тетки с выпученными глазами? Как необычно. Не припомню, чтобы в какой-либо культуре смерть изображалась в облике огромной тетки. А может, это вовсе и не смерть? Ведь я не знаком еще со множеством вещей. Может, ко мне пришел Бог? Он тоже нечто непознанное. Как я всегда желал этого, чтобы Бог озарил мою убогую квартирку своим присутствием. Он-то как раз может принять любой облик, раз он приходил к людям в виде тумана, быка и даже старого негра, как в фильме «Брюс Всемогущий». Так что стать толстой теткой ему раз плюнуть».

Мякишев кинулся к двери. Он с ужасом обнаружил отсутствие тетки, отсутствие Бога. Слезы потекли по небритым щекам Мякишева. А если это был единственный шанс получить ответы на мучавшие его вопросы: что он может знать, что он должен делать и на что смеет надеяться? А этот глупец просто закрыл дверь, закрыл дверь перед надеждой своего возрождения к живой жизни! У Мякишева разболелась голова. Он сел на диван, и вдруг вся его жизнь закружилась перед ним черным выюном. Он попытался что-то уловить в этом безобразном кружении, но только и успел осознать, что ничего не изменилось. Все осталось по-прежнему. Разве что курица вдруг замолчала, и Мякишев, наконец, смог

пообедать в полной тишине. После того, как курица переместилась в желудок, Мякишев решил вернуться к своей жизни, которая продолжала кружиться в гостинной. Усевшись поудобнее, он пристально вперился взглядом во вьюн, пытаясь разобраться, что к чему.

Он не мог поверить в то, что он – это вот: голова, руки-ноги, туловище, одежда на нем, характерные фразы, повадки, манеры, положение статус, молва. Конечно, он был этим всем, и был рад этому, но ему этого было мало, не хватало чего-то, что не могло быть поименованным. Ему так не доставало неизреченности о себе. Свою несказанность он ощущал смутно, но вождедел ее, как безумную недостижимую грезу. Что это значит? Что значат эти слова о нем, когда кто-то пытался поведать, что ему все кажется странным, мнимым до ужаса? Это значит, что он не был в том, в чем он был. Он не был в своем теле, когда его тело двигалось по земле в поисках своего места. Он не был в своем голосе, когда пел задушевные песни, пытаясь через них сказать то, что переплавилось в сердце. Он не был в себе, когда был собой, когда думал про себя «это я», когда говорил другим «это я», когда его «Я» ощущало себя во всей полноте – он не был в себе, его не было. То есть он сам пришел к выводу о том, что его не было. А иначе как объяснить это странное, дикое чувство неверия в то, что ты весь исчерпан в земном, в том, что явлено? Никак.

Неизвестно, отождествлял ли он свое «Я» и свое тело, или

для него вообще не существовало понятия обособленного «Я», и он был бессамостен, известно только, что он лежал на диване и пялился в потолок, не веря в его белизну, не веря в существование верха. Он лежал и смотрел, и боль сочилась из его глаз, покрывала струпьями его лицо, а он кричал ужасным голосом о том, что ему хватит, хватит, хватит. Он бродил, гремя руками, разворачивая их во все стороны, силясь объять необъятное, приподнять неподъемное, обхватить себя в ветре слов, дующих из ротового отверстия Бога. Он видел перед собой преимущественно черный цвет, который никогда не покидал его. И даже сны его были черными, и душа его была черной. И ночь, когда он не спал, была не такой черной, как его очи, преисполненные грустным томлением, вселенской тоской и прочими аффектами.

Страшно подумать, что предстоит пережить Мякишеву, чтобы сказать в конце своего жизненного пути: «Что ж, все было не зря. Я многому научился, многое повидал. Правда, я так и не понял, кому нужны все эти знания, которые я приобрел в ходе накопления долгого и трудного жизненного опыта? Для чего все это? Где то великое, что искупит оголтелую бесполезность моего существования?». И ответом Мякишеву будет молчание. Суровое молчание небес, которое эхом отразится в его сознании как безмолвие вселенной. И в самый последний миг, миг надежды, когда Мякишеву покажется вдруг, что перед самой смертью в этом молчании появится великий смысл, наступит агония и последние мину-

ты жизни Мякишева пройдут в ужасных мучениях. Он будет стонать, верещать, и дергать ногами, как опрокинутый таракан, скуля от изнывающей боли, не в силах более помышлять ни о каком великом смысле, а только мечтать поскорее подохнуть, лишь бы не мучиться. Но перед ним вновь и вновь будет вставать образ последней истины, который воплотит в себе все существо боли, пригвождающей его к постели. Он станет ему ненавистен, он проклянет эту истину и подавится собственной рвотой. Когда соседи придут, чтобы опознать труп, они все столпятся вокруг тела Мякишева и сочувственно прошамкают беззубыми ртами что-то нечленораздельное. Жуткая картина: пожелтевшее и как будто вздувшееся тело Мякишева, перевернутое на живот; огромная неестественно волдыристая спина, и сальные спутанные волосы цвета опавшей осени.

## 2

Все чаще Мякишева посещала мысль, что жизнь в действительности есть некий обман, задуманный чьей-то злой волей с определенной целью, постичь которую невозможно человеческим разумением. Мякишев четко отделял жизнь от своего ощущения жизни. То, что он ходил, двигался, дышал, еще не было тем, что он в полном смысле мог бы назвать жизнью. Реальность сводилась к простым формам представления, но в ней отсутствовало то, что брат Мякишева, начитавшись Вересаева, называл «живой жизнью». Заглядывая в самую суть своего «Я», Мякишев находил его каким-то жалким, серым, съезжившимся комком, который был абсолютно чужд и инороден реальности. Казалось, сама жизнь противилась тому, чтобы Мякишев жил.

Для чего я живу? Зачем я живу? Иногда Мякишеву казалось, что эти вопросы не имеют права на существование, что они плод его больного распаленного мышления, которое, не вписываясь в рамки самой жизни, делало все, чтобы подорвать ее основы, а самое главное – веру Мякишева в ее ценность. Тогда Мякишеву тем более становился непонятен тезис Декарта. Сам он напротив связывал свое мышление в большей степени с собственным несуществованием. Потому что как только он начинал мыслить, он погружался

в какое-то мутное, трудноразличимое пространство, в котором люди превращались в тени, а вещи в фантомы. Мякишев сознавал себя, но ему этого было недостаточно. Самосознание не устраняло ширящуюся пустоту, идущую изнутри его сознания. Он пытался заполнить ее вещами из внешнего мира, но они безвозвратно проваливались в бездну его души, мало способствуя освобождению Мякишева. Мякишев мечтал посвятить себя и свою жизнь служению высшим силам, но как он ни старался, он их не находил, и всюду он обнаруживал лишь следы увядания и упадка, следы разрушения. Умирал ли сам Мякишев? Ему-то вообще казалось, что он и не живет. Тогда что в таком случае можно было бы назвать смертью? Изо дня в день, он перетаскивал свое тело, побуждая его совершать ряд повседневных действий, чтобы поддерживать видимость жизни, по крайней мере для зоркого взгляда окружающих его людей, которые ценили жизнь Мякишева гораздо выше, чем он сам.

Он тек, как течет само время, как растекается вода, не имеющая собственной формы. Он безжизненно существовал, занимая свое место в пространстве и времени. И на протяжении всего своего прозябания его не покидала мысль о том, что Бог – это очень гнусное могущественное существо, заставляющее его болезненно переживать свое собственное существование. Бог создал его до безумия ранимым и поместил его в мир, который ранит одним фактом своего присутствия. Бог сыграл дьявольскую шутку с Мякишевым. Воз-

можно, что Бог и есть дьявол? Гонимый этой неумолкающей свербящей тоской, Мякишев в сердце своем проклинал все сущее и вслед за Селином повторял, что величайшим разочарованием в его жизни было его появление на свет.

### 3

Структура жизни Мякишева состояла из 3 основных компонентов, а именно:

Посещение книжных магазинов.

Распитие пива с друзьями.

Мучительные размышления над смыслом жизни.

В книжных магазинах Мякишев не вступал в разговоры с другими покупателями. Ему было жалко тратить время на общение с растительным миром. Мякишеву было любопытно, что читает современная молодежь. Но по мере удовлетворения своего любопытства, он все больше убеждался, что молодежь нынче весьма недалекая, если не сказать тупоумная. А жаль. Мякишев был не прочь обсудить интересную книгу с каким-нибудь посетителем. Но делая вывод об общем уровне умственного развития того или иного прохаживающегося мимо книжных полок покупателя, он предпочитал молчание.

Однажды, правда, события приняли иной оборот. Он разговорился с продавщицей, которая, как выяснилось, была выпускницей филологического факультета. Она проявляла крайнюю степень осведомленности в вопросах, касающихся довольно серьезной литературы; сыпала фамилиями современных авторов и не к месту начинала пересказывать содер-

жание книг, которые Мякишев сам читал и прекрасно помнил. В какую-то минуту их разговора до него дошло, что все ее слова – это способ саморекламы, если не сказать самолюбования, демонстрации уровня своей эрудиции, начитанности, высокой духовности и утонченной внутренней культуры. Мякишев увидел перед собой квохчущую курицу, которая говорила сама с собой, в принципе не нуждаясь в собеседнике. Ему стало немного жаль ее. «Это ведь все от одиночества. Иначе, зачем она пристаёт к каждому покупателю с докучливыми разговорами?».

– Как вы относитесь к Маркесу? – поинтересовалась она.

– Маркес – это самовлюбленный дядька, – насупившись, ответил Мякишев.

– А как вы относитесь к Ахматовой? – не унималась продавщица.

– Ахматова – это экзальтированная тётка.

Продавщица смутилась. Ей было чуждо такое отношение к писателям и поэтам, которые были для нее неприкосновенной святыней. Можно было знать их произведения или не знать, но отзываться таким непочтительным образом было категорически запрещено, даже немыслимо. Мякишев понял ее растерянность, и ему стало грустно. Он почувствовал себя еще более одиноким, потому что на мгновение поддался надежде, что, возможно, встретил родственную душу, которой не надо объяснять, кто такой Маканин, с которой спокойно можно обсудить раннюю прозу Трифонова.

Но, несмотря на установившийся между ними интеллектуальный паритет, они разделяли разные ценности, которые невозможно было согласовать. В конечном счете, Мякишев считал эту продавщицу тоже по-своему ограниченной. «Очередной фанатик, на этот раз фанатик литературы» – устало подумал он. И выходя из отдела, он полусшепотом, едва шевеля губами, повторял свой любимый отрывок из Риндзайроку: «Встретишь Будду – убей Будду, встретишь патриарха – убей патриарха, встретишь святого – убей святого, встретишь отца и мать – убей отца и мать, встретишь родича – убей и родича. Лишь так достигнешь ты просветления и избавления от бренности бытия».

Распитие пива с друзьями имело четкий регламент: участники собирались, приветствовали друг друга, шли в ближайший бар и напивались. Первые две кружки сопровождались подъемом настроения, друзья подначивали друг друга, шутили и иронизировали. За третьей традиционно речь заходила о женщинах. В зависимости от того, как на данный момент протекали отношения с женским элементом, участники либо безудержно восхваляли женскую красоту и вообще все, что связано с женщинами, все женское, либо преисполнялись самыми что ни на есть женоненавистническими настроениями и поносили женщин последними словами. После 4 кружки шли темы мировоззренческого характера. Здесь почти все без исключения погружались в пессимистический драйв и высказывали злобные мизантропические суждения о мире.

Под конец, после 5 и 6 кружки – становилось совсем плохо, и все приходили к неутешительным выводам, касающимся как их собственного положения, так и положения дел в целом. Потом все расходились по домам, где сразу же валились с ног и засыпали. Кто-то спал как младенец, а кого-то мутило всю ночь, и он то и дело вставал, чтобы выпить обезболивающего или открыть окно.

О смысле жизни Мякишев размышлял, потому что все время пребывал в тревоге. С натяжкой эту тревогу можно было сравнить с хайдеггеровским «Sorge» и определить ее как экзистенциальную. Он не помнил и дня, который бы прошел безмятежно. Тревога настолько срослась с плотью его жизни, что он начисто был лишен способности понять такие концепты греческой философии, как «атараксия» или «эвтюмия». Он мечтал об одном: перейти в плоскость бездумного существования, перестав вращаться вокруг вертикали мысли, которая одним своим концом упиралась в небо, а другим – была направлена в бездну. «Хочу жить бездумно, как животное, не регистрируя происходящее своим сознанием, не рефлексирюя по этому поводу. Хочу жрать, пить, развратничать и не иметь никаких сожалений. Хочу быть свободным в проявлениях своей скотскости. Хочу быть полноценным полнокровным скотом и не знать иного способа существования!» Но разум неизменно совершал персуазию его желания, напоминая, что он уже отмечен проклятой печатью разума и другим ему ни за что не стать.

Иногда в минуты отчаяния Мякишев разглядывал безобразный шрам, оставленный на его животе в младенческие годы. Для Мякишева шрам был не просто линией разреза, он был границей, на которой когда-то давно находилась его смятенная душа, границей между бытием и небытием, между тюрьмой и освобождением, как думал он сейчас. Мякишев родился слабым, не способным нести бремя жизни, цепко ухватившимся своими ручонками за пустоту, из которой появился. Но руки хирурга были сильнее, они вытащили это темное дитя на божий свет. С тех пор Мякишев был обречен жить со странным чувством отчуждения от мира, чувством ненужности, случайности, противоестественности. «Все люди гости в этом мире, но я к тому же еще и непрошенный гость», – думал Мякишев. Природа однозначно отказала Мякишеву в праве на существование, но маленький человек в белом халате решил по-другому, начисто забыв о принципе недеяния. Если бы Мякишев встретил этого человека, он бы и не подумал благодарить его за «спасение», как, впрочем, и не стал бы порицать. Он просто прошел бы мимо этого старика, ибо намерение его было благим, пусть и приведшим Мякишева в ад. Так он думал и сейчас, сидя на скамейке в городском парке. Рядом сидел седовла-

сый старик, но Мякишев не замечал его. «Знаете, мне совсем недолго осталось...», – вдруг произнес старик. Он смотрел куда-то вдаль, на линию горизонта, откуда, очевидно, должна была появиться его смерть. Мякишев постеснялся оставить без внимания это признание:

– Вы жалеете о чем-нибудь?

– Наверное, нет. Никто из моего окружения не сможет сказать, что я жил зря. Я врач по профессии, точнее хирург, поэтому сделал в жизни много хорошего.

У Мякишева кольнуло в области шрама и стало ныть.

– Значит, за всю жизнь Вы не совершили ни одной ошибки и Вам не за что себя корить?

– Не совсем. Одну врачебную ошибку я все-таки совершил, однако только я один считаю это ошибкой, для остальных моя ошибка была невероятным чудом. Это может показаться абсурдным, но я спас ребенка, который не нуждался в спасении. Это было давно, но я помню его недетский усталый взгляд, который он будто обращал не в мир, а вглубь себя самого, отказываясь от всего, что ему предлагали взамен. Казалось, что всем своим существом он несовместим с жизнью, но долг есть долг. Такая вот забавная ошибка в моей профессиональной биографии.

«Да, ошибка», – повторил про себя Мякишев.

– Наверняка сейчас этот возмужавший ребенок и руки мне не подаст, – сказал, посмеиваясь, старик. – И я его отлично пойму.

Мякишев встал со скамейки.

– Уже уходите?

– Пора.

Старик тоже встал и протянул Мякишеву руку. Мякишев пристально посмотрел в глаза умирающего врача, достал мачете и отрубил ему руку. «Теперь тебе и вправду недолго осталось», – подытожил Мякишев и удалился.

Ввиду того, что читатель усомниться в реалистичности финала этого эпизода, сразу предоставляем более подходящий вариант: «Старик тоже встал и протянул Мякишеву руку. Мякишев пристально посмотрел в глаза умирающего врача, крепко пожал ему руку и, пожелав всего хорошего, удалился» (согласитесь, что вариант с мачете намного круче).

Однажды возвращаясь с работы, Мякишев случайно забрел на какую-то пустошь. Он был погружен в свои раздумья и потому не заметил, как свернул со своего обычного маршрута. Пустошь неприятно поразила Мякишева своей безлюдностью, но присмотревшись чуть внимательнее, он узнал в ней до боли родной пейзаж с детства милый его сердцу. На Мякишева нахлынули воспоминания. Ребенком сюда его приводила мать, когда еще здесь рос могучий зеленый лес и крики чибиса оглашали окрестность. Вальдшнепы стремглав проносились над головой и исчезали на горизонте маленькой черной точкой. Журчали ручьи, и в их незатейливом пении Мякишев тогда различал удивительно простые ноты природной радости, которые, казалось, возносили хвалу создателю жизни. А к вечеру солнце клонилось к закату, уступая место молочным звездам, которые пригоршнями рассыпались на ночном небосклоне и будили в Мякишеве тайные грезы. В нахлынувших на него воспоминаниях Мякишев без труда опознал код классической русской литературы. И так как она ему не особо нравилась, он поспешил покинуть пустошь и отправиться в город, который своей стилистикой отвечал его художественному вкусу к экспрессионизму. Город и вправду являл собой воплощение большой

фантазии Георга Гейма. Он напоминал месиво не переваренного тела, которое изрыгнули неведомые гиганты, то ли потому что он пришелся отвратительным на вкус, то ли потому что таким образом они выразили свое глумливое отношение к городским жителям.

Поистине город походил на чертоги Аида, на мрачный Тартар, редко освещенный грязно-желтым светом уличных фонарей. Недаром, легенды гласят, что основатели города в процессе строительства изгнали всех кротов, веками населявших эту землю. После этого якобы на жителей города легло проклятие. С тех пор люди рождаются здесь подслеповатые, с огромными руками, а сам город стал средоточием мрака, холода, сырости и безысходной тоски. Мякишев медленно брел по проспекту Бухар-Жырау, где обычно в это время суток собирались все проститутки города, чтобы заманить в свою холодную постель всякого заплутавшего бродягу. Женщины вели себя крайне вызывающе: облизывали губы, хлопали себя по ляжкам, цедили в стаканы молоко из груди, курили трубки, ели живых мышей, шили чепчики, дрессировали обезьян, нюхали диффенбахию и рассказывали друг другу дзэн-буддийские байки. Все это будило в Мякишеве дикое желание. Сексуальная энергия, скопившаяся в теле Мякишева за тридцать лет, судорожно искала выход, страстно рвалась наружу, но Мякишев всегда надувал щеки, сжимал кулаки и сдерживал ее натиск. Он боялся женщин, в их присутствии Мякишеву становилось дурно, он не знал, куда се-

бя деть, когда на него в упор глядела какая-то размалеванная бабенка. Но сегодня почему-то он решил плюнуть на все это и снять одну из этих девочек. Он выбрал ту, что была похожа на Елену Денисьеву, чтобы хоть как-то облагородить будущий преступный акт. Денисьева сразу согласилась, осклабилась, взяла его под руку, и они зашагали по направлению к гостинице. Всю дорогу Мякишев раскаивался в том, что позволил превратить себя в нелепого андрогина, способного только рассмешить богов, а не утратить их. Чтобы как-то скрыть раздражение, он пытался наладить разговор со своей продажной половиной. Денисьева оказалась бывшей актрисой, которая так вошла в роль проститутки, что уволилась из театра и пошла на панель. Войдя в номер, она бросила на кровать сумочку и пошла в ванную. Из сумочки выпала книга. Мякишев взял ее в руки и осторожно открыл. На первой странице он прочел: «Шиол гак дудза беранта риол штарпарьти. Диграм твекшт партиль быбор каулио типряц фартроп».

– Что за обезьяний язык? – подумал Мякишев.

– Это обезьяний язык, – пояснила проститутка и стала раздеваться.

Мякишев тоже разделся, и они легли в постель.

– Начинай, – прошептала Денисьева.

– Хорошо, – неуверенно отозвался Мякишев. – В чем смысл жизни?

– По-моему, смысл жизни заключается в поиске новых способов удовольствия.

– И все? Жить только ради удовольствий?

– Чему ты удивляешься? Мой смысл жизни является универсальным. Все, ради чего ты живешь, неизменно доставляет тебе удовольствие, даже о самоубийстве ты помышляешь только потому, что это доставляет тебе удовольствие. Создание семьи, служение Богу, самореализация, подвиг во имя Отечества, – все это имеет смысл только потому, что является особым способом удовольствия.

– Разве смысл не нечто большее? Пусть мы живем по принципу удовольствия, но, возможно, смысл жизни в том, чтобы сделать совершенно противоположное удовольствию, отказаться от него.

– Даже в этом ты находишь новый способ удовольствия. Так что не рыпайся.

– Неужели Бог создал нас только лишь для получения удовольствия?

– Именно так. Вспомни Веды: человек создан Богом для наслаждения, для поиска счастья, а счастье человек может найти в чем угодно.

Мякишев закрыл глаза. Денисьева молча оделась, взяла со стола деньги, перекрестила Мякишева и покинула номер.

Мякишев вернулся домой в каком-то полузабытьи. Он пытался разбить свою жизнь на фрагменты, чтобы ему было проще соединить ее в какую-то целостность, но эта попытка отдавала чем-то кортасаровским, а так как Мякишев неодобрительно относился к магическому реализму Латин-

ской Америки, он вместо этого решил выпить пива. Он зашел в бар с безобидным названием «Green». На улице вечерело, поэтому все столики были уже заняты подвыпившими людьми. Мякишев двинулся к барной стойке, но тут же пожалел, что просто не ушел из этого заведения. На него смотрела довольная, раскрасневшаяся рожа школьного приятеля. Рядом с ним, заставляя всех мужиков в радиусе мили ерзать от зуда в штанах, вальяжно расположилась миловидная цыпочка.

– Чувак! – закричал он. – Давай к нам! Сколько лет, сколько зим! Где пропал, ковбой?

– Мастерил лассо для таких телочек, как твоя подружка.

Джоник расхохотался, как шаман.

– Знакомься, это Бисквитик. Это самая сладкая печенюшка в нашем городе. Бисквитик, это Мякишев. Поздоровайся, киска.

– Привет, – сказала Бисквитик.

– Привет, – сказал Мякишев.

– Пойду отолью, – сказал Джоник.

– Иди, – сказала Бисквитик.

– Смотри, не залезь ему в штаны, пока меня не будет. Я тебя знаю.

– Не волнуйся, папаша, все будет как надо.

Джоник потрепал ее за щеку и удалился.

– Пойдем отсюда, – сказала Бисквитик.

– А как же Джоник? – спросил Мякишев.

– С ним все будет в порядке.

Бисквитик и Мякишев шли по пустырю.

– Знаешь, – сказала Бисквитик, задумчиво глядя в звездное небо, – когда-то система Птолемея вполне отвечала наивному вопрошанию древнего человека.

Мякишев покосился на нее.

– Что?

Бисквитик тоже посмотрела на Мякишева.

– Хочешь меня?

– Да.

– Так в чем же дело?

– Я хочу тебя духовно.

– С чего ты взял, что я на это пойду?

– В тебе есть класс. В чем твой секрет?

– Я помню все свои предыдущие жизни.

– Что же ты делала рядом с таким дерьмом, как Джоник?

– Понимаешь, я была и последней рабыней и величественной царицей, я была святой и блудницей, я предавалась самому утонченному гедонизму и страдала на кресте, я писала великие книги и убивала гениев. И кем бы я ни была, какая бы участь меня ни постигла, я никогда и нигде не была счастлива. Я поняла, что не имеет никакого значения кем быть, нет никакой разницы между Богом и Дьяволом, между Добром и Злом, между Жизнью и Смертью. Всё – Одно.

– И ты решила стать шлюхой?

– Я не просто шлюха, я – совершенная шлюха.

– Что это такое?

– Я не умею ничего, кроме как быть шлюхой, это мое призвание. А у тебя есть призвание, Мякишев?

Мякишев промолчал.

Вернувшись в свою берлогу, Мякишев сел возле окна и неподвижно сидел так до самого рассвета. «Я чувствую боль. Как мне ее утолить? Почему я чувствую боль? Люди? Ответ в них? Они причиняют мне боль? Они же и являются теми, кто способен утолить эту боль. Странно. Зачем? Для чего? Чему учит меня эта боль? С какой целью она была причинена мне? Чтобы я искал спасения от нее у людей? Но ведь не я виновен в ее появлении. Почему я должен обращаться к тем, кто приходится источником этой боли? Тем мучительнее. Ведь даже сознавая все это, я не могу не обратиться к ним за помощью, потому что боль, причиненная ими – невыносима. Таковую боль один человек потянуть не сможет. Нужен другой. Нужны другие».

Серый рассвет заколебал пространство. Он сидел и смотрел в окно. Вещи сменяли друг друга. Он это видел. Но он не мог понять, какое место он сам занимает в этой череде смен и событий? Какое место он занимает как нечто большее, чем он сам есть в данный момент, и чем он осознает себя как сущее-здесь-и-сейчас? Его голос не принадлежал ему, его чувства – не были его чувствами. Они разделялись вместе с теми безвозвратными минутами обстоятельств прошлого, ко-

торое, когда оно было настоящим, застигало его врасплох и даже пугало, останавливая процесс его жизни, и добивалось от него какого-то предельного переживания, будь то страстная одержимость музыкой или жалкое томление духа, мучимого немощью тела.

Он смотрел в окно и преисполнялся болью, ощущением потери того, что вершило его, но вот вдруг прошло и теперь он совершенно оставлен на произвол непредсказуемого. Его будущее – тоже лишь череда его воплощений, которые не зависят от воли его здесь-и-сейчас. Оно так же ему не принадлежит. Тоскуя по своей утраченной предметности, он заставляет самого себя приступить к написанию Книги, которую будет писать всю жизнь, которая и станет его жизнью, ее зеркальным отражением, свидетельством его существования.

Но в глазах его все равно слезы, потому что он не хочет покидать бывшее, и поэтому он берет его с собой в виде воспоминаний, которые так же сотрутся с течением времени.

От него ничего не осталось. И больше всего его томит неспособность выразить то, что он носит в себе. Вероятность ошибки восприятия другим того, что он так тщательно вынашивал и осмысливал. Его слово – мертворожденное дитя. Его мысль – сплошная боль: «Моя боль – это источник моего существования. Она питает меня и поддерживает мою жизнь. Она вселяет в меня уверенность в то, что я жив, что я существую. Эта боль – все, что дано мне, как гарант моего существования. Но я, тем не менее, стремлюсь избавиться-

ся от нее. То есть, я стремлюсь избавиться от своего существования. Все верно. Потому что существование означает страдание. А страдать – нелегко. А я не люблю трудностей. Что я знаю об этой боли? Только то, что она ужасно неприятна. Она дает мне жизнь, и она же лишает меня всякой воли к ней. Что значит жить? Значит чувствовать. Но что я чувствую кроме боли? Все остальные чувства только мое бегство от боли. Мое болеутоляющее. Боль эта значит, что я человек. До тех пор, пока мне больно, я помню об этом».

Он часами сидел и смотрел в окно. Просто смотрел в окно. Часами просиживал возле окна, глядя в него. Смотрел и смотрел, не отрываясь. Сидел и смотрел, почти неподвижно. Он думал о том, что его жизнь по сути к этому и сводится. К бесцельному, но наполненному какой-то внутренней умиротворенности созерцанию. Деревья неподвижно росли, иногда приводимые в движение порывами ветра. Дети создавали странную сутолоку из своих тел: такие маленькие, живые, и в то же время как будто неживые – маленькие, полые тела, заряженные какой-то смутной энергией, дающей импульс передвигать свое тельце в пространстве двора. Дома выдавливали из себя краску, которая со временем превратилась в заскорузлую труху. Голубое небо декорацией застыло над этим смущением.

«А что если представить мою жизнь как совокупность разрозненных фрагментов некоего романа?» – подумал Мякишев, заваривая чай однажды утром. Эта мысль пришла к нему не только потому, что в последнее время Мякишев все острее ощущал дискретность собственного существования. Также на него повлияло чтение ранних гностиков и увлечение Каббалой. Его привлекала сама идея рассматривать свою жизнь как претворение божественного слова. Филологическое образование, однако, брало свое, и он понимал эту эзотерическую концепцию в духе постмодернистского текстуализма. «Моя жизнь есть текст. Причем текст написанный, мягко говоря, отнюдь не самым талантливым автором. Что ни слово – то пафос; что ни строчка – то скука. Причем скука смертная. И кому охота тратить свое время на чтение подобной ерунды?».

По мере развертывания этой мысли, Мякишев все сильнее отдавался на волю своей фантазии. «Если бы меня и вправду не существовало, а вся моя жизнь была всего лишь художественным вымыслом, причем довольно низкого пошиба, воплощенным весьма посредственными авторами, обязательно нашелся бы придирчивый читатель, скажем, какой-нибудь Павел Петрович Пупкин, которому наверняка

бы не понравилась вся эта писанина, и он бы обвинил авторов в беспомощности их жалких потуг, в отсутствии подлинности и жизненной правды, и в довершение своей разгромной критики привел бы для сравнения сказу Андерсена о голом короле. Конечно, будучи прижученными, авторы тут же наотрез отказались бы от всяких притязаний на какие бы то ни было художественные достоинства, открестились от высокого звания писателей и ограничились скромным статусом скрипторов или дискурс-монгеров. Этот скептик бы громко похохотал, утер выступившие от умиления и смеха слезы, и, скорее всего, пошел дальше по своим делам».

Мякишев допил чай.

– Да уж, порой чего только в голову не приходит.

Жизнь как текст. Это странный сон. Странный образ. Странная идея. Странная задумка. Тем не менее, этот образ недоступно преследует больное сознание Мякишева. Он навязчив, этот образ, как бывают навязчивы люди или сама жизнь. И Мякишев слишком робок, чтобы ответить решительным отказом. Он принимает правила игры и представляет свою жизнь как череду рассказов. О нем, о его жизни и о его непростых взаимоотношениях с миром. Сонм метафор. В слове есть жизнь. Однако жизнь не есть слово. Вначале было Слово, но что это было за Слово, что это за слово Слово? Отличается ли Слово от «Слова»? Бог пишет слово мир. Бог ставит мир в кавычки. Что это значит? Значит ли это, что мир не удался? Или что мир двусмыслен? Или что

мир – это цитата? Фраза, однажды произнесенная и потерявшая всю свою прелесть в тот же миг?

Мякишев слишком устал, чтобы думать над этим. Его окутывает серая пелена неразличимости. Жизнь – призрак. А призрак этот – сон. И он снится Мякишеву, и тот мирно видит его, не подозревая, что все имеет начало. Мякишеву надоело призраки. Особенно много этих призраков было среди слов. Слова отсылали к реальности. Потом они заменили реальность. Потом они стали скрывать, что реальности нет. Что это значит, что реальности нет? Это значит, что Мякишеву надоело объяснять себе жизнь как нечто осмысленное, притворяться, играть в смысл. Ничего нет и даже этого ничего нет – тоже нет. Нет слова нет. Нет самого нет. Нет нет. Так что же есть? Ничего нет. И это нельзя понимать как простое отрицание. Это нельзя понимать как негативное утверждение. Нечего утверждать и, следовательно, нечего отрицать.

Мякишев сжался. Его тело забилося в судорогах и конвульсиях. Ему до смерти надоели эти лживые, ничего не значащие слова. Вот же она жизнь. И нет никаких слов, чтобы рассказать о ней. На нее можно только указать. Вот она. Пальцем – вот она! Вот же она! Но там, куда указывает перст, разверзается пустота. И огненный пророк Илия проваливается в бездну, не достигая небес. И небеса оборачиваются черным бездонным зиянием пустого космоса. И Бог летит вниз головой, потому что нет ни верха, ни низа. Жизнь влаж-

ная, серая, странная, пустая, протяженная. Жизнь – отметина, жизнь – страница, штрих, надпись на древнем наречии. Вот она – просто сильное напряжение. Стягивание всех волокон пространства в пустую, безмерную, никудашную единицу. Бог записал мир двоичным кодом. 1 – это сущее; 0 – это не-бытие.

Мякишев сильно устал. Он закрывает глаза и медленно уходит в иное. Он что-то лепечет своим набухшим налившимся языком и силится в последний раз произнести самое сокровенное о себе и о жизни. И он несет какую-то чушь о форме и содержании. Про Великого Гончара и Мудрое Дао. Но ничего этого нет. Это все воспаленная фантазия Мякишева, которая лишила его ума. Это плод его больной фантазии. Это призраки. Те же призраки, что и слова. Те самые призраки, с которыми он боролся. Которых он не победил. Он хотел написать метафизический роман, но ему не хватало сил, потому что, как только он переставал смотреть в окно, сразу же, почти невольно переводил взгляд на книгу Майринка, лежавшую на столе. Он так и не дочитал эту книгу. «Зеленый лик» оказался слишком трудным чтением. Все в этой книге двигалось и жило. И сколько бы он ни проводил глазами по странице, буквы съедали его понимание и оставляли его голодным. Он тихо злился и печалился. Бытие же тем временем текло, чихая дождем на окно, в которое он смотрел. Вещи становились серыми и покрывались пылью. Все умирало в пляске смерти. А он продол-

жал свое неподвижное сидение у окна. Его взгляд не блуждал, он был направлен в самую середину. Вещи кончались и начинались, но то, что он видел, оставалось неизменным. Он думал, что это сама Жизнь открывается его взору и блаженно наблюдал ее, подавляя в себе неприятное чувство ни на что не потраченного уходящего времени. День останавливался, и он боялся, что это последний день, и что он вот так и замрет в бессильном оцепенении. Страшна была не смерть. Страшно было застыть полуживой куклой и в таком состоянии принять смерть. Он боялся, что последним его переживанием станет чувство пронзительного отчаяния, тупой безысходной тоски, жалящей уязвленности от того, что поднялась вдруг со всей беспощадной очевидностью в сознании страшная мысль – апофеоз бессмысленности, ненужности его собственного существования, проявившееся во всей своей остроте понимание зыбкости жизни – из ниоткуда в никуда. Тупик. Смерть. Забвение.

Люди жили, двигались, суетились, отдыхали после тягот вечного дня. Вдыхали в праздности прелесть человеческого бытия. Делились своими заботами, чувствами, мыслями, душами, сердцами, соединялись телами, чтобы потом разомкнуться и растерять в себе притаившееся одиночество. Люди делили хлеб и жизнь. Люди всеми силами отодвигали смерть. Они причесывали свои мысли и давали им правильный ход. Опустив шторы на окнах, люди закрылись от внешности внешнего, от грозного лика смерти, от ее ледяного ды-

хания, проступающего в ночном ветре. Мякишев смотрел на мир и ужасался: «Искусственность поглотила мир. Нет ни намек на живое движение души, ни на саму душу. Мир тонет в стерильных декорациях. И всюду, куда бы ни был обращен взгляд, правит бал безликость, унылая и страшная в своей сути. Ни черты, ни облика, ни указания на некий смысл. Только тоскливое и тяжелое томление плоти, которая ничего больше не означает. Это уже даже и не плоть. Это пустое тело. Полое и нагое. И нагота эта уже не грех, не искривление. Ровная гладкость массы, которая плавится пустотой. Красота страшная своей неестественностью. Ни глаз, ни бровь, ничто не ведется и не движется. Тени и линии. Диагональ отчаяния. Что может померещиться в этом безвоздушном пространстве? Ничего. Что напомним в этом унылом волнении о чуде лица? О лике живого? Что заставит поверить в неприкрытую гордость непосредственного движения, жеста, руки? Ничего. Ни страшная явь клонящейся к закату реальности, ни теплая ностальгия по настоящему, – ничто уже не воскресит во мне позабытого чувства жизни, которая, скорее всего, просто приснилась мне в одном из тех снов, в котором является мир превыше всякого понимания. Искусственность поглотила мир. И сделал она это незаметно, искусно. Искусственность наполняет мир своей нетленностью, и мир гибнет в вечно застывшем мгновении. Куда исчезла жизнь? Какая злая воля искоренила ее? Нет ничего. И это наполняет мою душу ужасом одиночества. Ужасом пустоты. Здесь нет ни

зла, ни добра, а только смертная суетность неживой вечности. Только бесконечная маска бессмертной и вечной усталости погибшего мира. Я не верю ни единому слову. Не верю тому, что вижу. Я слишком устал от всего этого. От шума и грохота бытия. Он вонзается в меня словно нож и больно ранит мое слабое сердце. Каждый носит в душе печать этой пустоты. И никто уже не в силах увидеть, как он отчужден от жизни, от самого себя. И никто не видит, как бесконечно далеко вдруг стали другие. Как в этом нещадном молчании прорывается сквозь немоту немолчность мира, вопиющего о своей оставленности, и как с трудом сдерживая свое падение, одиночки крепятся и из последних сил выдавливают улыбку, которая искажает их лица своими уродливыми чертами, улыбку, которая означает только одно – наступление неизбежного».

Жизнь мерцала как безбрежное полотно. Огромные куски колышущихся смыслов. И все – недооформленные. И все – принципиально незавершенные. Мякишев обзирал свою жизнь, применяя всевозможные схемы и способы объяснения, но никак не мог уразуметь той простой истины, что его жизнь была неподвластна его разуму, и уж тем более его рассудку. Сердце же Мякишева хранило молчание, и как он ни прислушивался к нему, оно мало что сообщало, особенно если дело касалось жизненно важных вопросов. Поэтому Мякишев чувствовал себя оставленным на произвол слепых судьбоносных сил, брошенным и покинутым, ввергнутым в

пучину существования, в которой он барахтался совсем не умея плавать; и для того чтобы не утонуть, вынужденный топить других и дрейфовать, цепляясь за их всплывающие тела. Потоки истории, потоки слов. Мякишев сливался с типографской краской, с запахом свежих чернил. Он растекался по листу и становился пригодным для чтения.

Итак, роман не есть линия, не есть история (не есть нечто, имеющее место во времени), не есть рассказ, тем более рассказ о... Роман – это путаница, вереница каких-то отрывков, вырванных фрагментов, пуантилизация жизни, всклочоченные абзацы, дерганные фразы, перекошенные нервным тиком слова. В романе есть безумие, есть накал страстей, есть какое-то странное тихое помешательство, в котором безразлично тонут любые попытки понимания.

– Да, меня нельзя понять, – самодовольно думает Мякишев.

– Да, его нельзя понять, – подтверждают самодовольство Мякишева авторы, по крайней мере, один из них.

Мякишев обожал разврат. Сам он в нем, как правило, участия не принимал. Но любил наблюдать подобные зрелища. Когда тела тех, за кем он подсматривал, нервозно совокуплялись, тело самого Мякишева пронзала энергия похотливого тока, и он начинал глупенько хихикать и дергать правым веком. Веко обнажало его бездонный окуляр, который был настолько бездонным, что непременно испугал бы самого Паскаля.

Этот вечер Мякишев собирался посвятить своему любимому занятию. Все складывалось самым наилучшим образом. Сходя в магазин купить пива, Мякишев на обратном пути встретил компанию пьяных подростков, среди которых было много смазливых мордашек.

Соблазнив молодежь философскими разговорами, Мякишев уговорил всех переместиться на его квартиру, чтобы продолжить беседу. Гости расселись кругом, обступив Мякишева так, что он оказался в центре. Самый шустрый подросток по имени Алкивиад, ни мало не смущаясь, обратился с льстивыми речами к Мякишеву, бессовестно уничтожая алкогольные запасы хозяина.

– А вот, скажи нам Мякишев, – начал свою речь Алкивиад, – привечаешь ли ты в этих стенах Эрота?

Мякишев вспотел. Оттянув сдавливающий шею воротник, он залепетал что-то невнятное, но его уже никто не слушал. Все были пьяны. Все дошли до того состояния, когда начинают разбредаться кто куда. В поисках кайфа или покоя. Мякишев остался один. Его умиляла эта непроглядная бесконечность чувств, раскинувшаяся перед его взором, как только он познакомился с людьми. Приезжих было немного, и все они носили в душе смутную тягу к завершенности, которая не давалась им, покуда они были живы.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.